

Гуттаперчевый мальчик (Повесть)

«...Когда я родился — я заплакал; впоследствии каждый прожитой день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился...»

Метель! Метель!! И как это вдруг! Как неожиданно!! А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило; солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день масленицы. Так продолжалось почти до трех часов, до начала сумерек, и вдруг налетела туча, поднялся ветер и снег повалил с такою густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице.

Суета и давка особенно чувствовались на площади против цирка. Публика, выходявшая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе, валившей с Царицына Луга, где были балаганы. Люди, лошади, сани, кареты — все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застигнутых врасплох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбрали.

К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принять в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, — метель легко могла повредить делу.

Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода; но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин, несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления; рождались даже некоторые опасения, что если погода к восьми часам не улучшится, — касса цирка существенно пострадает.

Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу к конюшням.

В зале цирка успели уже потушить газ. Проходя между барьером и первым рядом кресел, режиссер мог различить сквозь мрак только арену цирка, обозначавшуюся круглым мутно-желтоватым пятном; остальное все:

опустевшие ряды кресел, амфитеатр, верхние галереи — уходили в темноту, местами неопределенно чернея, местами пропадая в туманной мгле, крепко пропитанной кисло-сладким запахом конюшни, амьака, сырого песка и опилок. Под куполом воздух так уже сгущался, что трудно было различать очертание верхних окон; затемненные снаружи пасмурным небом, залепленные наполовину снегом, они проглядывали вовнутрь как сквозь кисель, сообщая настолько свету, чтобы нижней части цирка придать еще больше сумрака. Во всем этом обширном темном пространстве свет резко проходил только золотистой продольной полоской между половинками драпировки, ниспадавшей под оркестром; он лучом врезывался в тучный воздух, пропадал и снова появлялся на противоположном конце у выхода, играя на позолоте и малиновом бархате средней ложи.

За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот; к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Там теперь сосредоточивалась жизнь шумного персонала, одушевлявшего полчаса тому назад арену цирка во время утреннего представления. Там только горел теперь газ, освещая кирпичные стены, наскоро забеленные известью. У основания их, вдоль закругленных коридоров, громоздились сложенные декорации, расписные барьеры и табуреты, лестницы, носилки с тюфяками и коврами, свертки цветных флагов; при свете газа четко обрисовывались висевшие на стенах обручи, перевитые яркими бумажными цветами или заклеенные тонкой китайской бумагой; подле сверкал длинный золоченый шест и выделялась голубая, шитая блестками, занавеска, украшавшая подпорку во время танцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом.

Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли как с мячиком, — в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистыванье.

Так и теперь было.

В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и

стояли в мантильях, модных шляпках, пальто и пиджаках; другим удалось только смыть румяна и белила и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками; третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления.

Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба, и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через всю голову.

Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо.

При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным; но режиссер поспешил остановить его.

— Эдвардс, погодите минутку; успеете еще раздеться! — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал, — подождите, прошу вас; мне надо только переговорить с фрау Браун... Где мадам Браун? Позовите ее сюда... А, фрау Браун! — воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже не молодой женщине, в салопе, также не молодых лет, и шляпке, еще старше салопы.

Фрау Браун подошла не одна: ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами.

Она также была бедно одета.

— Фрау Браун, — торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса, — господин директор недоволен сегодня вами — или, все равно, вашей дочерью; очень недоволен!.. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику!..

Я сама испугалась, — тихим голосом произнесла фрау Браун, — мне показалось, Мальхен упала на бок...

— А, па-па-ли-па! Надо больше репетировать, вот что! Дело в том, что так невозможно; получая за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалованья...

— Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь; она постоянно сбивается с такта; когда Мальхен прыгнула в обруч — лошадь опять переменила ногу, и Мальхен упала... вот все видели, все то же скажут...

Все видели — это правда: но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения; она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее, и робко на него поглядывала.

— Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виновата, — сказал режиссер. — Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером.

— Но она вечером не работает...

— Будет работать, сударыня! Должна работать!.. — раздраженно проговорил режиссер. — Вас нет в расписании, это правда, — подхватил он, указывая на писанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, усыпанной мелом и служащей артистам для обтирания подошв перед выходом на арену, — но это все равно; жонглер Линд внезапно захворал, ваша дочь займет его номер.

— Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером, — проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос, — теперь масленица: играют по два раза в день; девочка очень устала...

— На это есть первая неделя поста, сударыня; и, наконец, в контракте ясно, кажется, сказано: «артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни»... Кажется, ясно: и, наконец, фрау Браун: получая за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей, стыдно, кажется, говорить об этом; именно стыдно!..

Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиной. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытующим взглядом.

Притупленный вид и вообще вся фигура клоуна, с его бабочками на спине и на груди, не предвещали на опытный глаз ничего хорошего; они ясно указывали режиссеру, что Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мертвую; и тогда уже прощай все расчеты на клоуна — расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.

Боже мой, что мог бы сказать Эдвардс в ответ товарищам, часто хваставшим перед ним тем, что их знала публика и что они бывали в столицах Европы! Не

было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками! Он один мог заменять целую труппу: был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей, а как клоун, как потешник — не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду.

Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни; тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы; он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, — чему втайне радовались его завистники и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его; последних, надо сказать, было не много. Самолюбие большинства было всегда более или менее задето обращением Эдвардса, никогда не соблюдавшего степеней и отличий; первый ли сюжет, являвшийся в труппу с известным именем, простой ли смертный темного происхождения, — для него было безразлично. Он явно даже предпочитал последних.

Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы; за неимением такого, он возился с собакой, обезьяной, птицей и т. д.; привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным.

В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Представления не успевали еще утрачивать над ним своего действия. Выходя из уборной в трико с бабочками, в рыжем парике, набеленный и наруганный, с перпендикулярно наведенными бровями, он видимо еще бодрился, присоединяясь к товарищам и приготавливаясь к выходу на арену.

Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, крикам: браво! — звукам оркестра, — он постепенно как бы оживал, воодушевлялся, и стоило режиссеру крикнуть: клоуны, вперед!.. — он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей; и уже с этой минуты, посреди взрывов хохота и восторженных браво! — неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро, до ослепления, кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно круговое непрерывное сверкание...

Но кончалось представление, тушили газ — и все как рукой сымало! Без костюма, без белил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь; тогда ничего уже не помогало; он все тогда забывал; забывал свои привязанности, забывал самый цирк, который, с его освещенной ареной и хлопающей публикой, заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка; все пропивалось; пропивалось накопленное жалованье, пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками.

Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще с начала масленицы за возрастающим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторону.

— Эдвардс, — произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном, — сегодня у нас пятница; остались суббота и воскресенье — всего два дня! Что стоит переждать, а?.. Прошу вас об этом; директор также просит... Подумайте, наконец, о публике! Вы знаете, как она вас любит!! Два дня всего! — прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. — Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике, — подхватил он, очевидно более с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни, — вы говорили, он стал как будто слабее работать... Мудреного нет: мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить! Что же с ним?

Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себя ладонью по крестцу, потом похлопал по груди.

— И там и здесь нехорошо у мальчика, — сказал он, отводя глаза в сторону.

— Нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться; он на афишке; нечем заменить до воскресенья; два дня пускай еще поработает; там может отдохнуть, — сказал режиссер.

— Может также не выдержать, — глухо возразил клоун.

— Вы бы только выдержали, Эдвардс! Вы бы только нас не оставили! — живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимаясь снова раскачивать руку Эдвардса.

Но клоун ответил сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться.

Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей; нестерпимо было в ней от духоты и жары; к конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива; с одной стороны красовалось зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой; подле, на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи; дальше, на деревянном гвозде, торчала остроконечная войлочная шапка с павлиньим пером на боку; несколько цветных камзолов, шитых блестками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и двумя деревянными стульями. На одном сидел Беккер — совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле, толстой перевязке костей, коротенькой шее с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напмаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и притом грубым инструментом; хотя ему было на вид лет под сорок, — он казался тяжеловесным и неповоротливым — обстоятельство, нисколько не мешавшее ему считать себя первым красавцем в труппе и думать, что при появлении его на арене, в трико телесного цвета, он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, но был еще в рубашке и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкой пива.

На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик лет восьми. Он не успел еще простыть после представления; на тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины; голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая; большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.

Он поднял глаза тогда только, как Эдвардс вошел в уборную.

— Чего надо? — неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна.

— Полно, Карл, — возразил Эдвардс задобривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие, — ты лучше вот что: дай-ка мне до семи часов мальчика; я бы погулял с ним до представления... Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы...

Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать.

— Не надо, — сказал Беккер, — не пущу; он сегодня худо работал.

В глазах мальчика блеснули слезы; взглянув украдкой на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил.

— Он вечером лучше будет работать, — продолжал задобривать Эдвардс. — Послушай-ка, я вот что скажу: пока мальчик будет простывать и одеваться, — я велю принести из буфета пива...

— И без того есть! — грубо перебил Беккер.

— Ну, как хочешь; а только мальчику было бы веселее; при нашей работе скучать не годится; сам знаешь: веселость придает силу и бодрость...

— Это уж мое дело! — отрезал Беккер, очевидно бывший не в духе.

Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать, покачал головою и вышел из уборной.

Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст, свистнул им по воздуху, крикнул: марш! и, пропустив вперед воспитанника, зашагал по коридору.

Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся щедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом...

Минуту спустя цирк совсем опустел; оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей для вечернего представления.